

НИЩИЕ

Они вошли в пустой полуденный храм, неожиданно сильно хлопнув дверями. Небольшая сельская церковка вся переливалась по пёстро расписанным стенам отражаемыми чистым светлым полом солнечными зайчиками. Световые струи живо цедились из высоких окон сквозь качающиеся кроны близких берёз. Один из зайчиков быстро проскочил по груди вошедшего седого, прямо стоящего священника и радостно сверкнул его серебряным крестом. Спутница, крупная полная женщина средних лет, вся в чёрном, под брови подвязанная красной косынкой, тяжело поставила огромные сумки, быстро трижды перекрестилась: «Ты, отец, погоди, пока я остальное принесу». – «А алтарь там?» – «Там!» – Она вышла, уже старательно придерживая новую, тугую ещё пружину.

Священник сделал несколько неуверенных шажков в глубь храма. Постоял, словно прислушиваясь к трепетным метаниям солнечных бликов, и снова осторожно двинулся к аналою. Он был слеп.

...Свою веру Вера обретала тяжело. Ощупью. Она вообще, пока не закончила школу в рабочем посёлке на рудном севере Казахстана, про Бога ничего и не слыхала. Да от кого? – когда у них в округе самому старому жителю было не более пятидесяти. Ни одного пенсионера. Как во втором классе, согласно программе, учительница сказала, что Бога нет, так на том и поставили точку. Пионерия, комсомолия. Поступать в институт Веру отправили в Россию: в Казахстане русским родителям с их рабочей профессией никаких заработков не хватило бы на взятки и подарки даже на вступительных экзаменах.

Девушка училась, почти как все ребята с её родины, в электротехническом, без особых представлений о том, кем она станет после окончания. Занималась аккуратно, старательно и, получив диплом, очень удачно распределилась в местный НИИ, работавший над медицинскими заказами. Надо сказать, что выросла Вера ни красавицей, ни дурнушкой, а так, просто «непривлекательная». Хотя и неприметной её не назвал бы никто: она была очень крупной, не толстой, а именно крупной. Ещё дома её обзывали «дылдой», и ребята в школе и в институте всегда с удовольствием брали её в свои

друзья-товарищи, но влюблялись и женились на других. Поэтому, когда дело уже подходило к тридцати, она без восторгов, но и не раздумывая, сошлась с охранником из их же НИИ. Брак получился коротким, глупым. Муж был страстным каратистом. Все разговоры, все интересы их первичной ячейки общества должны были крутиться только вокруг его питания, режима, энергетических циклов и ещё того, кто кому как «сбил кукушку». Причём страсть эта была явно какой-то односторонней: результатов от каждодневных занятий, спортивных или педагогических, не наблюдалось. В соревнованиях он не участвовал по возрасту, а места сенсеев в секциях и клубах давно были уже расхватаны разными «козлами». Поэтому, когда родилась дочка, Вера со «своими» пелёнками и ваннами ушла от его циновок, палочек и кимоно, особо этим не расстроив всё также занятого затянувшимися играми «отца».

Когда дочурке исполнилось полгода, она подхватила воспаление лёгких и скоропостижно умерла. Вера попыталась найти хоть чуток тепла у бывшего мужа, но тот только наорал, что «сама, дура, во всём виновата», и чтобы «его больше не беспокоила».

Что ж, она и не беспокоила. Никого. Ни в чём. Одиночество неотступно нагло глядело в её окно, и она перестала раздёргивать шторы и выключать свет.

К Вере начала захаживать одна медсестра из той больницы, где не смогли спасти её крошку. Вначале она едва терпела эти визиты, но тётка была упорна в своих заботах о впавшей в постоянно знобящую, сонливую апатию Вере, что-то постоянно приносила и уносила, готовила, протирала пыль, штопала, гладила и говорила, говорила, говорила. Медсестра, как ей сразу показалась, была с «прибабаками»: всю зиму ходила в лёгком плащике, а в солнечные дни даже и босиком. И повсюду носила с собой книжицу с портретом бородатого и волосатого не то Мельника из «Русалки», не то просто лешего. Постепенно Вера стала привыкать к ней, вслушиваться, что-то спрашивать, отвечать. И через полгода уже сама была активным адептом ивановского движения, рекламируя всем знакомым и незнакомым «здоровый образ жизни».

Возле подъезда облупленно-серого пятиэтажного панельного дома, где была её комната в малосемейке, во дворе стоял бывший киоск «Союзпечати», приспособленный кооператорами под пивную точку. Вере нравилось в какое-нибудь особо морозное, по-городскому удушливо-хмурое утро выходить на заснеженный, в глубоких кривых тропках двор с двумя ведрами холодной воды. Группка с самого ранья трясущихся около ларька мужичков, перекошенных тяжелейшим похмельным недугом, разом замирала в самых различных позах, видя её в одном купальнике и босиком. Когда Вера, мысленно обратясь к Земле и Учителю, выливала на себя первое ведёрко, алкаши синхронно делали глубокий выдох и, уже в новых позах, не мигая выпученными красными глазами, следили, как по телу здоровенной девахи скатываются в подтаявший грязновато-серый снег парящие капли. Затянув кадыки, они дружно держали выдох до второго окатывания. А после учащённо хватали раскрытыми ртами воздух, но своими восторгами делились самым тихим шёпотом. В груди от увиденного и искренне сопережитого шока у них явно теплело, ломка отпускала.

Ивановство приоткрыло для Веры щёлочку в мир совершенно до того незнакомых мистических переживаний. Само учение для «деток» было, конечно же, достаточно примитивным, рассчитанным на неграмотных, необразованных людей. Но ради желанного «здорового образа жизни» на заседания клуба приходило много разных, порой

очень ярких, неординарных личностей и приносилось много разнообразной литературы. Вера знакомилась с философами и спортсменами, медиками и экстрасенсами, много и взахлёб читала, посещала полуподпольные кружки релаксационных сеансов и энергетических гимнастик. Это не было собственно каким-то настоящим личным мистическим опытом, и хотя она участвовала в групповых медитациях с обещанием «выхода в астрал», у неё не было ничего такого, что можно было бы назвать «чудом». Да и не этого она искала. Просто ей вдруг открылась целая россыпь неведомых до этого реалий и фактов, легко укладывающихся в любые логические цепочки, объясняющие связи между внешне вроде бы никак не сопрягаемыми событиями и явлениями человеческой жизни. От интереса приёмами психической саморегуляции, она потянулась к увлечению социальным психоанализом. Из-за этого Вера вскоре перешла на работу в институт экспериментальной медицины, так принципиально сменив уважительное отношение коллег к себе как к специалисту по электронным системам, на настороженное восприятие новичка в системах социальных. Конечно же, её, как неудачницу, острее всего влекли проблемы семейного обустройства. Хотелось понять законы межчеловеческих отношений и научиться гарантированно прогнозировать первейшее человеческое счастье. Сгоряча она даже стала соискателем степени «кандидат психологии». Но все сотни перечитанных за два года томов схем и тестов, десятки адаптируемых для России рецептов не несли никакого осязаемой уверенности в правильности понимания «системы». Так как, в основном, это были всё зарубежные авторы, диагностические методики и рекомендации которых оказывались совершенно не применимы в отечественных условиях. Ибо основой западной формулы семьи являлся гражданский договор, в котором само понятие любви полностью отсутствовало. А такое она уже проходила.

В какой-то момент подступила усталость и не такая явная, но причинно более глубокая апатия ко всему происходящему вокруг. И, в первую очередь, к самим людям. Раздражала повторяемость их глупостей и ошибок. Где оно, счастье? Вера теперь слишком хорошо понимала всё в чужих конфликтах, слишком просто давала советы другим – слишком, чтобы следовать им самой.

Результатом постоянных переохлаждений явилось воспаление надпочечников. Чаще всего у ивановцев, после года-двух обливаний, начинала отказывать печень. И уже не помогали ни диеты, ни чистки, ни голодания: белки глаз у всех желтели, суставы, особенно когда-либо травмированные, гнулись со скрипом и болями, появлялась неугомонная озлобленность. Старшие товарищи страдали и умирали от преждевременных сердечных приступов. А у неё вот не выдержали почки. Скоро отдельные приступы слились в единую пытку. Боль была непереносимой, Вера стонала и каталась по дивану, ища и не находя хоть минутного забытья. И вдруг, словно что-то стукнуло в висок: она на четвереньках подползла к рабочему столу, с криком вырвала верхний ящик и, ничего не видя, нащупала среди рассыпавшихся бумаг карманный календарик. Приставив к спинке дивана перед собой изображение Божией Матери Иверской, она так и простояла перед ним на коленях почти сутки. Облокотившись на диван локтями и грудью, она то в голос молилась наивными, идущими со слезами словами, то, ощутив какое-то облегчение, дремала. И боль её оставила.

Потом была долгая, тугая депрессия. Весь мир по кругу отгородился от Веры толстым и пыльным стеклом. Словно она оказалась под огромным мутным колпаком, куда с трудом проникали звуки, а краски становились серо-блеклыми, с каким-то едва уловимым фиолетовым оттенком. По ночам мучили удушливые, переливающиеся бесформенным перламутром кошмары, а потом и сами ночи не стали ничем отличаться от таких же пугающе тёмных дней. Она даже ложилась теперь только на пол, а на диване её «покачивало». Самым уютным было сидение в углу за столом, без понимания происходящего и в отсутствии всяческих желаний. Даже вестибулярный аппарат отказывал, словно Вера утратила под собой всякую опору и мучительно медленно тонула в густой клейстерно-слизистой массе, без всяких понятий «право», «лево», «верх», «низ».... Психбольницы удалось избежать, и с работы она уволилась сама. В какой-то момент неудержимо сильно потянуло куда-то «домой». К родителям? Или просто в детство.

Тут пришла телеграмма, что умер отец, и Вера поехала на родину в уже отделившийся границей самостоятельный Казахстан. Ночной пейзаж за окном поезда буквально иллюстрировал её душевную хлорную сухость: чахлая бесконечная лесополоса за волнами провисших проводов, неожиданный ярко освещённый переезд, и снова лесополоса, лесополоса. Да огромный ковш Медведицы в чёрном безлунном небе... А днём старенький ПАЗ так же укачивающе тащился по совершенно пустой пропылённой узкой шоссе с выщербленным асфальтом. Несколько тощих серых пирамидальных тополей обозначили прибытие в детство. Здесь не появилось ничего нового. Всё почти как прежде. Только «почти»: прежнее теперь оказалось каким-то маленьким, убогим, сиротливо покинутым – посёлок третий год населяли безработные. Кто смог, тот уехал, кто не смог – промышлял подсобным хозяйством, извозом или разбоем. После большого города всё выглядело каким-то игрушечно не настоящим, не таким, как хранилось в памяти. Ведь даже школа ей помнилась выше, чище, солидней.

Мама, милая мама, какой же она стала старушкой! Хотя старалась, красила брови и губы, но от этого выглядела ещё более жалкой. Свежая могилка отца в череде таких же, абсолютно одинаковых могил на лысом кладбище, младший брат, всеми правдами и неправдами старающийся прокормить своих троих птенцов, сноха-немка, говорящая только о том, как хорошо её родственникам в Германии. Встретили Веру дружно, но ещё на раз быстро-быстро убедившись, что она неудачница, что пользы от неё никому не будет, тут же дружно забыли. А она даже с радостью целыми днями сидела в пустой маминей двухкомнатной квартире, не желая встречаться ни с обабившимися семейными заботами одноклассниками, ни с новой, собирающей чемоданы на «историческую родину» родней. Не хотела и всё. Слишком тяжела была их откровенная к ней назидательная жалость: вот, мол, возраст стукнул, а ни мужа, ни детей. Где-то там училась, трудилась, а теперь сюда приковыляла с одной сумкой через плечо. Зачем же она «там» жила? И приехала теперь-то, поди, делить с братом наследство.... Эта тупая, убого провинциальная рачительность даже не обижала, а просто давила. Ну их! Вот ещё немного посидит, отметит сорок дней и вернётся туда, где до неё нет никому никакого дела.

В один такой безликий и безымянный день в дверь позвонила и ворвалась тётя Лиля, соседка по лестничной площадке. Привычно ещё по детству, она с порога

заглокотала, затараторила, с ходу врезав: «Ты всё равно бездельничаешь. А ко мне брат приехал. Ну, ты его помнишь, должна помнить: он художник».

Как же было не помнить: Вера пошла в школу, когда он, высокий худой студент, приехал из своего московского института на каникулы. Она впервые увидела тогда молодого человека с бородой, с чёрной массивной трубкой в зубах и со странной плоской деревянной коробкой с членистыми выдвижными ножками из алюминия. Название этой коробки она тогда так и не смогла запомнить.

Тётя Лиля в минуту успела сделать вихревой круг по их комнатам и вернулась в прихожую, продолжая трещать:

– Так вот брат приехал. Ты только не пугайся – он теперь священник. Но попал год назад в автокатастрофу, потерял жену и сына, а теперь ещё и слепнет. Ты же всё равно бездельничаешь, так и помоги ему! Пошли, чего ещё ждёшь?

Полная недоумения относительно своих возможностей кому-то в чём-либо помочь, Вера обречённо пошла за соседкой. Квартира у той представляла собой настоящую мастерскую, но совершенно непонятного рода ремесла. Всюду стояли и лежали узкие фанерные ящики, пустые и залитые до краёв гипсом. Да этот гипс был везде: в полиэтиленовых мешочках, чашках, тазиках, просто кучками на полу. И ещё повсюду валялись большие и маленькие клочки золотой и серебряной фольги, скручено пустые тюбики клея «Момент» и самые различные щепочки, досточки и брусочки. Посреди всего этого нарядно блестящего и белевшего хаоса стоял Виктор. Встреть его Вера на улице, она ни за что не узнала бы в этом чуть располневшем, длиннобородом и очень усталом мужчине того, запомнившегося в детстве, кажется даже черноволосого, парня с важным, надменным выражением лица. Сейчас Виктор был совершенно седым, на глазах какие-то безобразные блестящие очки, из-за которых на лоб криво взбегал белый шрам. Ах да, катастрофа! Одет он был в большую клетчатую незаправленную рубаху, джинсы и босиком. Разве священники так ходят?

– Кто там? – строго спросил Виктор, не поворачивая лица.

– А Вера это, соседкина дочь, что напротив. Она согласилась, а я побегу. Опаздываю, совсем опаздываю! – выпалила тётя Лиля и исчезла. Вера растерянно улыбнулась, теперь ей бы хотелось только узнать, на что же всё-таки «она согласилась».

После окончания Суриковского Виктор с женой и только что родившимся сыном как «нацкадр» вернулся по распределению в Казахстан, сразу получив мастерскую и квартиру в Чимкенте. Работал в местном худфонде по керамике, копил зачётные выставки для вступления в Союз художников. Всё шло благополучно: заказы были всегда на год вперёд, и, значит, в свою очередь выкуплены кооператив и машина. Без проблем доставались творческие дачи и командировки. Здоровья было много, друзей тоже хватало. Весёлой командой отдыхали в горах, ели шашлыки, пили водочку, покуривали анашу. Даже от предложения перебраться в Алма-Ату он отказался: зачем журавель в столице, если уже есть хорошая сытая синица в провинции?

И вдруг всё рухнуло. Выяснилось, что старший двенадцатилетний сын стал токсикоманом. Только что беззаботно светило солнце, жизнь становилась всё лучше и

лучше. И вот, рухнуло... Они с женой стремительно покатались по сужающимся к неминучему кругам ада: бесконечные детские комнаты милиции, несколько курсов принудительного лечения, поочерёдные дежурства возле дверей, чтобы сын не сбежал к «приятелям». Перебрали всё: от самых дипломированных психотерапевтов до лам-китайцев. Чтобы оторвать его от плохой компании, решили переехать куда подальше. Но и в Перми сын быстро нашёл «своих», стал воровать. Опять безрезультатное лечение, дурдом... Идиотизм развивался стремительно, замкнувшийся в безвременье сын, при любых попытках выйти с ним на контакт, мгновенно становился агрессивным. Его уже ничего не интересовало, кроме того, чтобы хоть на минуту сбежать из-под родительского надзора. Виктор всё чаще ловил себя на том, что он с ужасом смотрит на рост младшей дочери, всё чаще ругая и наказывая её за то, что она не совершала. Пока ещё не совершала...

Там, в Перми, Виктор с женой стали посещать храм. Сначала просто заходили на вечерние богослужения немного постоять, молча и тайком от всех и друг друга помолиться. Да какой там помолиться! – поплакать и пожаловаться неизвестному ещё ими Богу на свою безутешную усталость. Старинный храм переливался огоньками множества свечей, запах горящих лампад и ладана щекотал горло, вызывая сдавленное рыдание. Они, даже не понимая слов звучащего хора, стояли каждый в своём углу тёмной широкой церкви и в то же время вместе чувствовали, как со слезами душу по каплям оставляет тяжесть безысходности. Постепенно на освобождающееся место затекала необыкновенная сердечная теплота, словно после долгих скитаний по злой и жестокой чужбине они возвращались домой. Домой – к ещё неизвестным, но своим, извечно родным – к России, к Православной Церкви.

На одном из таких вечерних богослужений, Виктор совершенно неожиданно для себя встроился в группу верующих, стоявших на общей исповеди. Вслушавшись в проповедь, он так же вместе со всеми стал громко каяться в перечисляемых грехах. «Отпускать» на помощь молодому священнику мелко шаркающей походкой вышел из алтаря до скелета иссушённый, какой-то совершенно серебристый старец. От него явственно лучилась некая упруго ласковая, умильно утешающая, но при том и твёрдо защищающая отеческая сила. И Виктор последним, подражая тем, кто стоял в очереди до него, упал перед старцем на колени и склонил к нему голову. Тот покрыл Викторова затылок епитрахилью, прижал сухонькой, лёгкой и – через толстую с подкладом ткань! – горячей рукой:

– Ну, – и?

– Батюшка, не могу больше. От жизни устал. Устал. Хоть руки на себя накладывай.

Ладонь вместе с епитрахилью сползла с его головы. И, нагнувшись, в упор, глаза в глаза восьмидесятилетний взглянул в сорокалетнего:

– А ты о Боге думай! Всё время, каждую минуточку. Слышал же: «Без Бога не до порога». Вот так и живи.

И резко, неожиданно звонко:

– Имя?! Отпускаются грехи рабу Божьему...

Это было как молния. Ну что особого могло содержаться в этих самых простых, самых бесхитростных словах? Дело было не в них. Просто встретились, соединились два сосуда: один пустой, мёртвый, другой переполненный, истекающий благодатной

живительный силой. Произошло смыкание. И всё вокруг озарилось: «Без Бога не до порога». Без Бога не до порога...

Через два года Виктор был рукоположен в диаконы, ещё через год стал священником.

А потом потерял жену и сына.

В результате аварии Виктор стал слепнуть. Уволенный по увечью за штат, он списался с сестрой, и, вместе с дочкой, решил переехать к ней в посёлок.

Слепота облепляла постепенно, но неотступно, не оставляя никаких надежд на выздоровление. Сначала пропала резкость, затем вместе с цветом стал меркнуть и сам свет. Служить нельзя, но у него же, как профессионального скульптора-керамиста, были очень чуткие, умные и образованные руки. Ими можно продолжать работать. Работать по памяти. Пусть православие не признаёт в своём богослужебном обиходе объёмную скульптуру, но барельеф! Это же как раз то, чем он и занимался в миру. Да, барельеф. И это не только поздние барокканские околочатолические вкрапления восседающих над иконостасами «Бого-Отцов» и купидончатых «ангелочков», привнесённые вместе с присоединением крепко оиезуиченной Киевской Украины, но и древнейшие, истинно русские, резанные по камню и дереву, а затем и литые из меди и латуни иконы и складни. А оклады, наши русские оклады!

Понятно, что на мелкую пластику нечего было и замахиваться. Виктору оставались киоты и одеяния престолов. Вообще-то, исторически престолы поверх нижней полотняной катасарки (похоронной пелены Иисуса) одеваются в парчовые индитии, символизирующие славу Бога. Но ему доводилось видеть, особенно в больших и богатых соборах, престолы, на которые поверх белых нижних рубашек-катасарок надевались и крепились плоские золочёные барельефные украшения с евангельскими сюжетами на все четыре стороны, закрытыми стеклянным коробом в витых столбиках-рамках. Естественно, они тогда очень заинтересовали его профессионально. Внимательно изучив принцип изготовления и систему крепления, Виктор поприставал к старшим священникам насчёт каноничности такого украшения алтаря. Но даже трудно было установить время, с которого стало практиковаться такое благолепие. Понятно, что после Никона. А православно ли? Да точно также можно было бы тогда засомневаться и по поводу запрестольного семисвечника, тоже когда-то привнесённого вместе с «богословием» Петра Могилы, но ныне уже неотделимого от других атрибутов православного богослужения.

Ребята из Подмосковья поделились с ним всем, чем могли, лично сделали и упаковали в дальнюю дорогу формы-матрицы и самих сюжетов, и рамочных и узловых орнаментов оформления и крепежа. Объяснили тонкости технологий и последования сборки. Для первых работ даже оторвали от сердца по рулону эластичной тончайшей фольги под «серебро» и «золото», под страшным секретом воруемой с закрытого военного производства. Использование золотозаменителя давало возможность украшать престолы даже в бедных храмах.

Когда на прощанье они обнимались, Виктор ощутил на своей щеке чужие слёзы.

Одежду первого престола отлил, оклеил и собрал он практически сам. Но на втором деле застопорилось – правый глаз совсем отказал, левый видел только контуры. Попробовал нанять помощником пьяницу художника-оформителя из местного клуба.

Мужичок был мастеровой, работал быстро и, в общем-то, качественно. Но как долго можно было терпеть, когда рядом с утра до вечера из табачно-перегарного горла непрекрываемым потоком выливалась беснующаяся матерная грязь? Все шуточные и не очень монологи этого круто исписанного наколками Санчо Пансы велись на одну волнующую его тему: мол, бедные старушонки несут в церковь последние копейки, а попы ездят на «волгах» и закапывают под яблоньки кубышки. Разве можно было даже попытаться объяснить этому человеку, что Виктор работает бесплатно? Он рассчитался из своей и сестринской пенсий, но тот ещё долго ещё заходил за какими-то мифическими недоплатами, стучал и орал под дверь, требуя и угрожая то судом, то ножичком. Нет, лучше уж непрофессионал, но лишь бы человек чистый. А, если бы верующий, то уж совсем роскошно!

Вера как могла аккуратно оклеивала фольгой узоры. И молчала. Отец Виктор (она наконец-то стала привыкать к тому, что он – «отец») своими быстрыми пальцами успевал перепроверить её работу, строго замечая то, чего не замечала она, зрячая! Одновременно успевал он прощупывать и отмечать малейшие дефекты, раковины и наплывы из только что вынутой из матрицы отливки большого барельефа с Христом, на коленях молящимся перед висящей в облаке чашей. Ангел с большими крыльями, стоя за плечами Спасителя, грустно склонил голову. Отец Виктор пробежался по кудрявому облаку, по тонкому согнутому дереву, большому камню, и задержался на сцепленных пальцами руках Иисуса. Что-то подчистил крохотной деревянной лопаточкой. Вера, глядя на его труд, едва могла поверить, что он уже совсем слеп. Украдкой поглядывая на его плотно закрытые тёмными веками глаза, серо-седую прядь, выбившуюся из схваченной на затылке резинкой косички, играющие под бородой желваки. И не понимала: как можно на ощупь так точно помнить – что и где должно располагаться. Точно до миллиметра. И при этом думать, рассуждать вслух о чём-то отвлечённом. О чём?

Речь отца Виктора была ровная, плавная, без напряжения. Он говорил и говорил, не ожидая ответа, и, кажется, не требуя даже внимания. Так, словно в никуда:

– «Не убий, не укради». Эти ветхозаветные заповеди никто не отменял. Но в наших с тобой случаях это несколько не актуально. Это прежде всего для людей активных, для тех, кто всегда готов натворить что-либо, может быть губительное для себя, для своей души. А когда твоя душа даже не то, чтобы обмерла, а словно бы в коме, тогда нам с тобой к Нагорной проповеди надобно прежде прочего обращаться. К заповедям Нового Завета.

Чуть глуховатый голос звучал отстранённо, но Вера вслушивалась всё внимательней и чувствовала, как внутри её растёт чего-то ждущее напряжение. За этим успокаивающим журчанием было что-то знакомое. Да! – точно также, давным-давно, когда она, ещё студенткой, на институтских соревнованиях прыгая в длину, вывихнула ногу, то врач, такими же отвлечённо круговыми поглаживаниями около горячей болью лодыжки долго и терпеливо перебирал косточки и связки распухших суставов.

– Нагорная проповедь – это лестница, на которой не прыгнешь через ступеньку. Тут только шаг за шагом. И вот самая первая ступень духовного восхождения отчего-то всегда является преткновением для всех, абсолютно всех религий, пародирующих христианство. И для коммунистов в том числе. Все они, так или иначе, приемлют и чистое сердце, и миротворчество. А как обожают, особенно сектанты, «гонимость»! Всё, кажется, проходят. Но на первой, на нищете духа, падают. Никак этого не могут принять. А ведь так кажется просто выбрать между Христом и Вараввой, Царством Небесным и... этой вот демократией.

Отец Виктор вдруг встал. Тщательно, палец за пальцем, вытер руки чистым вафельным полотенцем.

– Кто такие «нищие духом»? Ну, «нищий» – это прежде всего «не ищущий», не жаждущий в этом мире ничего. То есть не только не имеющий, но и не желающий иметь мирских благ – «искать» их. И второе значение: «нищий» – это «ничей». Никому и ничему сам здесь не принадлежащий. Ты вот сама здесь чья?

«Чья»? Это было как тот неожиданный рывок, вставивший вывихнутый сустав на место. Боль ударила в голову, сжала сердце. Чья? Чья она? Здесь. Тридцать пять лет корове. Ни кола, ни двора. Ни вчера, ни завтра. Муж, без любви пришедший и ушедший. Могилка дочери, которую поласкать даже толком не успела. И отец вот умер. Недоделанная диссертация. Мать, живущая братовыми внуками. А сам брат? Жалеет, но тоже тяготится её абсолютной бессмысленностью. Чья она?

– Ничья. Ни-чья! Никому я не нужна! Ни на Земле, ни на Небе. Никому!

– Вот глупости. Глупости. И ложь. Если бы это было для тебя правдой, ты говорила бы это с гордостью. Со злобой, даже со счастливой ненавистью ко всему. А тут у тебя такая тоска звучит. Значит, не уверена, сама свою ложь чувствуешь.

– Я?! «Не уверена?!» Да кому же я нужна? «Нищая». Да! Точно я «нищая». Ничья. И не ищущая. А кого мне искать? И... где? Где? Кого? Кого искать?!

– Слава Богу, вот он и вопрос! Давай, давай, просыпайся, прозревай. Слава Богу, слава Богу за всё, – отец Виктор крестился сам и крестил её:

– Ты спрашивай, спрашивай. Обо всём, обо всём. Слава Богу, просыпайся, спрашивай.